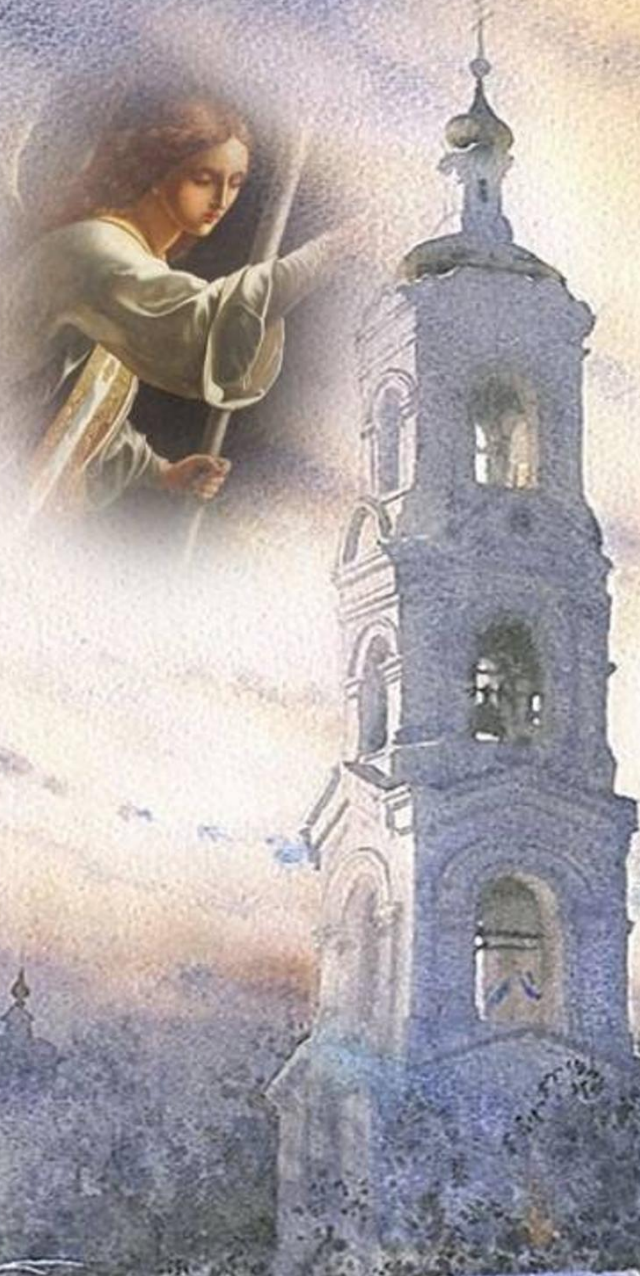


Павлова Ольга



СВЕТ СЕКИРНОЙ ГОРЫ

ПРАВОСЛАВНАЯ ПОВЕСТЬ

Ольга Павлова

Свет Секирной горы

«Автор»

2026

Павлова О. В.

Свет Секирной горы / О. В. Павлова — «Автор», 2026

«Свет Секирной горы» — это пронзительная история о том, что даже в нечеловеческих условиях можно остаться человеком, если в сердце живет прощение. Это книга о «неувядающем цвете» веры, который способен прорасти сквозь самый холодный камень. Книга посвящена священникам-узникам соловецких застенков, чья жизнь оборвалась в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) или во время массовых расстрелов заключенных Соловков в 1937 году.

© Павлова О. В., 2026

© Автор, 2026

Ольга Павлова

Свет Секирной горы

Посвящается памяти новомучеников Соловецких
и всех безвинно расстрелянных в те скорбные годы.
Пусть эта повесть станет тихой лампадой в память об
их великом страдании и неземном мужестве.

Пролог

За окном крутило снег бился в стекло сухо, со злостью, будто кто горстями крупу кидал. Старый Василий, подслеповато щурясь на седую муть, поправил на плечах побитый молю пиджак.

— Гляди-ко, как заходит... — голос старика был скрипуч, как несмазанная телега, но в нем слышалась странная сила. — В аккурат такая же круговерть была, когда нас к морю гнали. Ни зги не видать, только лед под сапогом стонет, да конвойные псы надрываются. Ты присядь, присядь ближе-то к печке.

Василий замолчал, перебирая узловатыми, как коренья, пальцами бахрому скатерти. Молодой человек — внук Василия — замер, боясь шелохнуться.

— Ты про Острова-то слыхивал, чай? — Василий обернулся. — Соловки... Камень там тяжелый, соленый. Нам-то, молодым да рьяным, в те поры баяли: дескать, кузницу куем, человека нового ладим. А про гору ту — Секирную — поначалу и вовсе не ведали. Только деды тамошние, из бывших, шепотом переговаривались.

Старик прикрыл глаза, и морщины на его лице превратились в глубокие каньоны.

— Сказывали они легенду древнюю, — старый Василий заговорил тише, нараспев. — Будто еще до Грозного царя, когда святые старцы только-только обживались, привез один мужик-рыбак бабу свою на остров. Захотелось ему по - мирскому на святом камне пожить. Так ангелы Господни, светлые да грозные, спустились с облака. Не мечами секли — прутьями, да так, что вопль по всему морю шел. И голос был: «Уходите! Гора эта — Секирная — не для женских юбок. Здесь иноки в молитве стоять будут, а в горькие годы кровью мученической каждый камень омоется. Здесь Бог будет грешных сечь, дабы душу спасти».

Василий горько усмехнулся, обнажив пустые десны.

— Я тогда гоголем ходил. Думал, сказки это всё поповские, обман темного люда. Что, мол, мы сами — и боги, и ангелы. А вышло-то как... Секира та по мне первому прошлась. По сердцу моему ударила. Оказалось, не в книжках та легенда живет, а в нас самих.

Старик тяжело вздохнул, и в тишине избы было слышно, как трещат в печи поленья.

— Садись, Алеша ... Слушай.

Глава 1. Телячий вагон. (1923–1924)

Железный состав содрогался, выбивая из рельсов монотонный, сводящий с ума ритм. Внутри «телячьего» вагона пахло немытыми телами, махоркой и застарелым страхом. Узкое окошко под самым потолком, забранное колючей проволокой, цедило скудный серый свет.

Молодой конвоир Николай, в новенькой шинели, пахнущей казенным сукном, стоял у дверей, сжимая в руках винтовку. Его лицо казалось застывшей маской. Он злился. Злился на этот холод, на бесконечный путь и, больше всего — на тех, кто сидел в полумраке вагона. Ему, комсомольцу из рязанских кузнецов, было тошно смотреть на «бывших».

— Гляди-ко, — негромко процедил его напарник, кивнув в сторону угла. — Вон тот, бородастый. Всё губами шевелит. Нешто проклиняет нас?

Николай сплюнул на грязный пол.

— Пусть шепчет. На Островах быстро отучат. Там им не амвон, там камни заговорят.

В углу, на гнилой соломе, сидел отец Иоанн. Ряса его была заляпана дорожной грязью, но спину он держал прямо, словно и в этом вагоне находился перед Престолом. Его губы и вправду двигались — он читал пятидесятый псалом, медленно, по памяти, отгораживаясь молитвой от лая конвойных псов и матерной брани, летевшей из разных концов вагона.

Прямо напротив священника, развалившись на шконке с вызывающей небрежностью, сидел экз-рецидивист Васька Крест. На его груди, под расстегнутым воротом грязной рубахи, синела татуировка — распятие, которое и дало ему лагерную кликуху. Васька лениво крутил в пальцах самокрутку, щурясь на священника.

— Слышь, папаша, — внезапно подал голос рецидивист. Голос у него был хриплый, с насмешкой. — Ты бы бросил это... Богу-то твоему здесь не место. Здесь теперь другой хозяин, вон он, с ружьем стоит.

Отец Иоанн поднял глаза. Спокойный, прозрачный взгляд старика на мгновение смутил Ваську.

— Нет сынок, хозяин у нас один, — тихо ответил священник. — И в палатах, и в каземате. Васька Крест загоготал, обнажив щербатый рот.

— «Сынок»! Слыхали? Я те такой сын, что за пятак в подворотне исповедую так, что и ангелы всплакнут. Ты мне зубы-то не заговаривай. Что у тебя в узелке? Хлеб есть? Делиться надо, по-христиански.

— А ну, цыц! Разговорились! - Николай шагнул вперед, ударив прикладом в пол так, что вагон дрогнул. — Крест, сядь на место, не то в карцер пойдешь прямо с перрона. — И ты, ... — он зыркнул на отца Иоанна, — помалкивай. Насмотрелся я на вас, долгогривые ... Охраняй вас теперь, корми...

Николай чувствовал, как внутри него закипает глухое раздражение. Он не понимал, почему этот старик в рясе не просил пощады, не плакал, а смотрел так, будто ему, Николаю, тяжелее, чем им всем.

— Ничего, — прошептал Николай себе под нос, отворачиваясь к двери. — Доедем до Кеми. Там море быстро спесь собьет. Там пойдем из какого теста вы слеплены.

Вагон резко качнуло на стрелке. Отец Иоанн закрыл глаза, продолжая прерванную молитву. Рядом молодой уголовник Васька Крест, сплюнув, начал внимательно следить за движениями конвоира, прикидывая, насколько крепко тот держит свою винтовку. А за окном, в серой мгле, уже проступали очертания Севера, окутанного холодной мглой и ледяной ненавистью.

Вагон снова тряхнуло, на этот раз так сильно, что сидящие на полу люди повалились друг на друга, как мешки с костями. Из дальнего угла донеслось придушенное рыдание, но оно быстро захлебнулось в общем гуле мужских голосов и лязге вагонных засовов.

Васька Крест не шелохнулся. Он прирос к своей шконке, словно паук к паутине. Глаза его, узкие и острые, не отрывались от Николая. Взгляд вора скользил по лакированному прикладу винтовки, по кожаному ремню, по неуверенным, чуть подрагивающим пальцам конвоира. Васька понимал, что в этой «коробке» из гнилых досок и холодного железа нет ни законов ЧК, ни Божьих заповедей. Здесь есть только теснота, в которой каждый вдох одного человека отнимает воздух у другого.

— Слышь, батя, — не оборачиваясь к священнику, с усмешкой произнес Васька. — Ты там за нас бормочи сильнее. А то, чую, на следующей стрелке нас так качнет, что и твои ангелы из вагона вылетят.

Отец Иоанн не ответил. Лицо его, освещенное бледным лучом из щели в крыше, казалось высеченным из серого камня. Он не просто шептал молитву — он уходил в неё, как в убежище, куда не долетали ни матерная брань уголовников, ни запах гниющей соломы.

В другом конце вагона двое «мужиков» — раскулаченных крестьян — затеяли тихую грызню из-за клочка пустого места на полу.

— Куда прешь, окаянный? И так на одной ноге стою...

— Молчи, деревня! Всем тошно!

Николай рывкнул, перекрывая гул:

— А ну, тишина! Расселись по углам!

Он сделал шаг вперед, чтобы разнять заключенных и тут Васька Крест неожиданно подался всем телом, ловя этот миг потери равновесия. Но Николай устоял, крепче вцепившись в цевье. Между ними, на полу, сидели священники, образуя живой щит из серых ряс.

— Чего ты, начальник, злой такой? — лениво протянул Васька, обнажая зубы в недоброй усмешке. — Мы ж не звери. Мы — материал. Про нас в газетах так пишут: «материал для переплавки». Ты нас береги, а то плавить некого будет.

Николай почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота — от вони, от этого голоса, от собственного бессилия. Вагон был набит так плотно, что казалось, доски вот-вот лопнут, не выдержав этого сгустка ненависти и боли. Стены вагона «плакали» — пот от дыхания десятков людей стекал по дереву грязными струйками, похожими на холодные слезы.

— Для меня вы все — один этап, — процедил Николай, стараясь не смотреть отцу Иоанну в глаза. — Звери или люди — Соловки разберут. Там быстро шкуру снимают.

А за окном, за узкой полоской решетки, небо окончательно выпцвело. Серый туман наполнил на карельские болота, и деревья становились всё ниже, всё кривее, словно они тоже гнулись под тяжестью этого железного состава. Очертания Севера проступали в этой мгле коряво и грозно. Там, впереди, была высокая гора, о которой Николай будет вспоминать десятилетия спустя.

Поезд завыл — длинно, надрывно, оповещающая о том, что скоро новая порция душ доставлена к порогу вечности. Васька Крест сплюнул желтую слюну от махорки, но в глазах его на мгновение мелькнула тень — не то страха, не то предчувствия. Отец Иоанн закончил молитву, открыл глаза и посмотрел в темноту перед собой так, словно уже видел эти места когда-то очень давно.

Николай прислонился затылком к холодному железу двери. Металл вибрировал, передавая телу каждый удар колес о стыки рельсов. Голова гудела. Ему казалось, что стены вагона сжимаются, выдавливая из него остатки того бодрого, парадного Николая, который еще неделю назад гордо маршировал на плацу в Москве. Здесь, в этой коробке, набитой нечистотами и человеческой злобой, его наган казался игрушечным, а власть — призрачной.

Он закрыл глаза, пытаясь отгородиться от тяжелого взгляда Васьки Креста, который, казалось, сверлил в его шинели дыру.

И вдруг неожиданно сквозь лязг сцепок и надрывный кашель из «поповского» угла донеслось странное созвучие. Сначала это был лишь робкий вздох, но через мгновение он окреп, превращаясь в стройное, хотя и очень тихое пение.

— *«Господь — просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?...»* — вывел чистый голос молодого иерея.

К нему тут же присоединился глубокий, дребезжащий бас владыки Тихона и спокойный, ровный голос отца Иоанна:

— *«Господь — Защититель живота моего, от кого устрашуся?...»*

Это не было похоже на обычные разговоры. Это не было похоже на жалобу. Голоса священников, притертых друг к другу в тесном углу, переплетались и поднимались вверх, под самую крышу вагона. Николай замер. В этом пении была такая невероятная, нездешняя чистота, что она подействовала на вагон сильнее окрика или удара прикладом.

Шум в «уголовном» конце начал оседать, как пыль после дождя. Васька Крест, уже приготовивший едкую шутку, так и замер с открытым ртом. Махорка в его пальцах продолжала дымить, но он забыл затянуться. Уркаганы, только что делившие чьи-то ворованные портянки,

притихли. Даже самый яростный из них — Паленый — перестал скрежетать зубами и невольно повернул голову к источнику звука.

Пение заполнило «коробку», раздвигая её стены. На несколько минут исчез запах параша, исчез страх перед Островами. Казалось, что сам воздух в вагоне стал прозрачнее.

— *«Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое...»* — выпевал отец Иоанн, и Николай чувствовал, как по его спине бегут мурашки.

Он приоткрыл глаза. В полумраке лица священников светились мягко и строго. Они пели не для конвоя и не для зеков — они пели для Того, Кто был выше этого поезда и этой железной дороги.

— Чего завыли... — попытался было гаркнуть напарник Николая, хватаясь за винтовку, но осекся. Николай сам положил руку ему на плечо, сжимая пальцы:

— Тише... Пусть поют. Это лучше, чем слушать муть уркаганов.

Васька Крест вдруг резко сплюнул, но как-то без прежней злости, скорее с досадой. Он откинулся на нары и закрыл лицо шапкой, пряча глаза от этого непонятного, пугающего его покоя.

Когда последний стих псалма замер, в вагоне воцарилась такая тишина, какой не бывало с самого начала этапа. Было слышно только, как свистит ветер в дверных щелях. Николай тяжело выдохнул. Ему стало страшно от мысли, что эти люди, которых он везет на смерть, имеют внутри себя что-то такое, чего у него, представителя «новой жизни», никогда не было.

Вагон №2448 был рассчитан на сорок человек или восемь лошадей, но конвой впихнул в него шестьдесят пять душ. Вдоль стен тянулись двухъярусные нары, но места на них удостоились только «уркаганы» и те, кто успел пробиться первым. Остальные — «контрики», интеллигенты и духовенство — они сидели на корточках в проходах, вжимая колени в подбородки.

Священников было семеро. Они сгрудились в самом дальнем, глухом углу, где из щелей в полу нещадно дуло ледяным сквозняком. Среди них был старый архиерей — владыка Прокопий, обмякший и почти прозрачный от слабости; трое приходских батюшек из-под Рязани, еще не потерявших деревенской крепости; и отец Иоанн, принявший на себя подвиг заступничества, готовый подставить плечо под чужую беду и слово под чужую боль. Седьмым был совсем юный иеродиакон Серафим, чьи глаза, огромные и лихорадочно блестящие, казались единственным живым пятном в этой серой мгле. Он прижимал к груди облезлый сверток — спрятанную под рясой литургическую чашу, которую чудом удалось спасти при обыске.

Отец Иоанн передвинулся так, чтобы закрыть собой владыку Прокопия от самого острого порыва ветра. Стены пересыльной тюрьмы сочились сыростью, а за дверью то и дело слышался тяжелый кованный шаг часового и лязг засова.

— Потерпите, отцы, — вполголоса произнес отец Иоанн, и его голос, треснувший от жажды, все еще сохранял ту удивительную глубину, которая в мирное время собирала полные храмы. — Скоро рассвет.

Владыка Прокопий шевельнул бескровными губами, пытаясь улыбнуться. Рязанские батюшки, сидевшие плечом к плечу, согласно закивали, и один из них начал едва слышно, одними губами, снова читать молитву святителю Николаю. В этом тесном, ледяном углу, среди запаха прелой соломы и немых тел, они казались остатками затонувшего материка, который все еще отказывался уходить под воду.

Священники вели себя тихо, чем злили охрану больше всего. Они не выли, не проклинали судьбу. Солдаты, привыкшие к крикам и мольбам о пощаде, терялись перед этим тихим, мерным гулом голосов, похожим на шум далекого моря.

— А если отнимут всё? — не унимался молодой иерей, озираясь на тени, пляшущие по стенам вагона. — Если и кресты сорвут, и чашу разобьют?

Отец Иоанн посмотрел на него долгим, прозрачным взглядом. В тусклом свете фонаря его лицо казалось высеченным из древнего, серого камня.

— Тогда алтарем станет собственная грудь, — просто ответил он. — На Островах, брат, храмы не в стенах, а в сердце. Господь не в золоте живет, а в сокрушенном сердце. Пока мы дышим — мы литургия.

Для священнослужителей это был не путь в лагерь, а путь в древний патерик, на встречу с мучениками.

Рецидивистов в вагоне было около двадцати. Это была «масть» — те, кто чувствовал себя здесь хозяевами. Васька Крест, Шнырь и косоглазый Паленый оккупировали верхние нары у единственного окна. Остальные тридцать с лишним человек были «мужиками» — напуганными крестьянами, рабочими и студентами, которые жались к священникам, ища у них хоть какой-то защиты.

Рецидивисты поначалу присматривались к «церковникам» с ленивой жестокостью, как сытые волки к странной добыче. Васька Крест, поигрывая самодельной заточкой, сплюнул вниз и хрипло хохотнул:

— Глянь, пацаны, святоши приехали. Ну что, бати, будете за наши грехи отдуваться или сразу рясы на портянки отдадите?

Шнырь и Паленый ответили коротким оскалом, ожидая, что священники начнут лепетать или креститься от страха. Но священники даже не подняли глаз. Это спокойствие, лишенное вызова, но полное какой-то непостижимой силы, сбивало блатных с толку.

«Мужики» же видели в этом углу единственный островок человечности. Один из студентов, совсем мальчишка с обмороженными пальцами, осторожно примостился у ног отца Иоанна, прижимаясь к его засаленной рясе, как к материнскому подолу. Старый епископ Прокопий, едва дыша, положил свою костлявую, почти невесомую руку ему на голову.

— Не бойся, чадо, — прошелестел он. — Тьма только кажется бесконечной.

В вагоне воцарилось шаткое равновесие. С одной стороны — лязг зубов и матерщина «масти», с другой — тяжелый дух отчаяния работяг, а посередине, в самом холодном углу, — тихая, сосредоточенная молитва священников, которая, казалось, единственная удерживала этот прогнивший вагон от того, чтобы он не рассыпался на ходу. Васька Крест еще пару раз замахивался для острастки, но спрыгнуть вниз так и не решился: было в молчании священников что-то такое, от чего даже у видавшего виды уркагана холодело за пазухой.

Зэки шептались о земном и жестоком. Их разговоры напоминали шипение змей:

— Слышь, Васька, — Паленый кивнул вниз на узелки священников. — У них там, поди, кресты золотые за подкладкой защиты. Да и сапоги у старого попа еще крепкие,... На Соловках за такие сапоги ведро баланды дадут.

— Обожди, — лениво отозвался Крест, сплевывая на голову какому-то студенту. — На пересылке в Кеми шмон будет лютый. Надо у попов добро перехватить раньше вертухаев. Если по-тихому не отдадут — пером пощекочем. Всё равно им, смертникам, добро ни к чему.

Васька Крест зорко следил за Николаем. Он видел, что молодой конвоир неопытен, что его мутит от запаха параши и духоты.

— Гляди на него, — шептал Крест подельникам. — Зеленый еще. Винтовку держит, как девку на гулянье — пальцы дрожат. Если на этапе рванем — этот первым обделается.

Николай стоял у дверей, чувствуя этот шепот спиной. Он видел, как священники в углу один за другим прикладывались к руке владыки Прокопия, будто совершали какой-то тайный обряд. Ему казалось, что в этом темном углу зреет заговор.

— Что шушукаетесь?! — выкрикнул он, ударив прикладом в дощатую стену. Звук вышел гулким и пустым. — О молитвах своих забудьте! Бог ваш в ЧК на допросе остался!

Отец Иоанн поднял голову и посмотрел на Николая. В этом взгляде не было ненависти — только глубокая, почти отеческая жалость. Николай осекся. Ему стало не по себе от мысли, что этот старик, сидящий в грязи, жалеет его — вооруженного представителя власти.

— Мы не о заговорах, гражданин начальник, — спокойно произнес отец Иоанн. — Мы о душе печемся. Она ведь и под шинелью болит, и под рясой.

Васька Крест в этот момент громко и грязно выругался, прыгивая с нар, чтобы спровоцировать Николая. Вагон наполнился тяжелым предчувствием беды. Путь к Соловкам был долгим, но в этой железной клетке уже определилось: кто здесь будет мучеником, кто — хищником, а кто — потерянной душой, ищущей выход.

Николай сжал рукоять кобуры так, что побелели костяшки. Грязная ругань Васьки Креста была для него привычным фоном, но сейчас она полоснула по нервам, как ржавая пила. Ему хотелось крикнуть, ударить, заставить это невыносимое спокойствие отца Иоанна исчезнуть, но слова священника про «боль под шинелью» попали в самую цель. Где-то там, под слоями сукна и казенной жесткости, у Николая действительно саднило — от запаха этого вагона, от собственного бессилия и от недавнего письма из дома, которое он не решался прочитать.

Васька Крест, почуяв заминку начальника конвоя, двинулся ближе, надеясь, что Николай сорвется на священниках, и тогда начнется общая свалка — «праздник», в котором блатным всегда проще урвать свое.

— Чё примолк, начальник? — просипел Паленый, скаля гнилые зубы. — Глянь, они тебя за дурачка держат, сказки про душу плетут. Врежь ему, чтоб нимб посыпался!

Священники, как по команде, чуть плотнее сдвинулись вокруг епископа Прокопия, закрывая его своими телами. Отец Иоанн не отвел взгляда. Он продолжал смотреть на Николая, и в этом безмолвном поединке между силой оружия и силой духа решалось нечто большее.

— Без разговоров! — вдруг гаркнул Николай, и голос его сорвался на высокой ноте. — Паленый, назад на нары!

Николай резко развернулся и, гремя сапогами, вышел в тамбур, со свистом задвинув тяжелую дверь. Холодный воздух ударил в лицо, но не принес облегчения.

Николай вытащил из внутреннего кармана шинели помятый конверт. Писала мать, почерком неровным, торопливым. Он всё-таки решился прочитать строки, которые жгли его сильнее, чем ледяной ветер в тамбуре:

«...Бабушка-то твоя, Пелагея, совсем плоха стала, Коленька, будто свечечка на ветру догорает. Лежит теперь неподвижно, а глазами всё на угол пустой водит. Там ведь иконы веками висели, а теперь только дырочки в бревнах чернеют, да гвозди ржавые торчат... А она всё — руку поднимет, перекрестит пустоту эту и плачет тихо-тихо.

Нас с отцом за руки хватает, в глаза заглядывает: «Где мой Коля? Неужто кровь чью пролил? Неужто обидел кого из беззащитных, малых-то сих? Ему ведь, кровиночке моей, перед Господом стоять, как я за него молиться перестану. А силы мои, — говорит, — уходят, как вода в песок... не удержу я его скоро молитвой-то своей».

Ты уж, Коленька, сынок мой единственный, Христом-Богом тебя заклинаю — не губи душу! Не дай сердцу в камень обратиться. Страшно мне, Коленька. Вернись к нам не начальником — человеком вернись...».

Николай смял письмо в кулаке. Перед глазами встал образ бабушки Пелагеи — сухой, пахнувшей ладаном и молитвой. Она всегда говорила, что у каждого человека есть своя «мера веры», и горе тому, кто её переполнит злом.

— Господь с каждого спрашивает по его мере, Коленька, — часто повторяла она, глядя строго и с жалостью. — Если человек родился в семье неверующей, Бога не знал и жил во тьме, а потом вдруг уверовал — с него и спрос один, малый. Ему каждый шаг к свету в великую заслугу пишется. Но другая мера у того, кто в вере воспитан. Кто слово Божье с детства слышал, силу молитвы знает, но всё равно сознательно уклоняется ко греху. С такого верующего и спрос двойной, строгий. Ему больше дано, значит, и отвечать придется за каждую каплю черноты.

Николай посмотрел на смятую бумагу. И теперь эта бабкина «мера» жгла его изнутри, напоминая, что за свой сознательный шаг во тьму оправдаться уже не получится.

Николай посмотрел сквозь щель в двери вагона туда, где в темноте светились глаза отца Иоанна. Те же глаза, что у бабки Пелагеи — прозрачные, видящие человека насквозь. Николай вдруг с ужасом понял, что старый священник в углу вагона знает о нем больше, чем он сам о себе. Жалость старика была не обидной, она была страшной, потому что подтверждала слова бабки: Николай, сейчас совершает то, за что ей приходится расплачиваться своими последними молитвами.

Николай сплюнул, пытаясь отогнать мысли, но слова из письма — «не дай сердцу обратиться в камень» — застряли в горле комом. В этом эшелоне, идущем в безнадежное никуда, Николай почему-то впервые почувствовал себя не конвоиром, а таким же пленником, только закованным в собственную форму.

Николай прислонился лбом к ледяному металлу двери. Стук колес превратился в мерный гул молота в отцовской кузнице. Он чувствовал этот запах: каленое железо, угольную пыль и пот. Семья кузнеца в их селе считалась крепкой, «Божьей». Отец, человек огромной силы и такой же тихой веры, всегда говорил: «Металл, Коля, он правду любит. Если в душе гнильца — меч треснет».

Он вспомнил себя маленьким, в чистой рубахе, стоящим на заутрене. Свечи отражались в золотых окладах, и мир казался надежным, как отцова наковальня. А потом пришел восемнадцатый год. Молодому Николаю, ослепленному речами о равенстве и новой жизни, старая вера показалась обузой, «дурманом», который мешает ковать счастье для всех.

Предательство было стремительным. Он сам, своими руками, помогал сбрасывать колокол с сельской церкви — тот самый колокол, под звон которого его крестили. Он помнил, как молчала мать и как отец, не проронив ни слова, ушел в кузницу и работал там до кровавых мозолей, не глядя на сына. Николай тогда смеялся: «Темнота вы, церковники! На дворе новая жизнь пришла! Свобода!».

И вот теперь — финал его «революционного марша». Он, внук и сын верующих людей, везет духовных пастырей в чашу Соловков. Неожиданно железная клетка вагона стала его собственной кузницей, но здесь он не ковал правду, а ломал людей. И глядя на отца Иоанна, он видел не «классового врага», а живое напоминание о том, кем он был и что в себе выжиг.

И сейчас шинель казалась непомерно тяжелой, будто была сшита не из сукна, а из того самого сброшенного колокола. Николай ощущал: те, в углу, свободны даже в кандалах, а он — с наганом на поясе — намертво прикован к этому вагону своим прошлым, от которого не убежать ни на какие Соловки.

Размышления Николая оборвал резкий, захлебывающийся кашель, донесшийся из угла священников. Это был епископ Прокопий. Старик содрогался всем телом, хватая ртом ледяной воздух, а его голова бессильно моталась из стороны в сторону.

— Воды... — прошелестело среди тишины. — Батюшки, воды бы отцу...

Отец Иоанн поднял на Николая взгляд — теперь уже не жалостливый, а прямой и требовательный, как у командира.

— Гражданин начальник... Глоток воды бы, — голос священника снова прозвучал отчетливо, перекрывая даже храп блатных.

С верхних нар тут же отозвался Васька Крест. Он свесил голову, и его заспанная рожа ослабилась в недоброй усмешке:

— Слышь, командир, ты че, в няньки заделался? Нечего воду казенную на доходяг тратить. Пушай подышает, нам места больше будет! Косой, глянь, святой отец-то скоро к своему начальству на доклад отправится!

Шнырь и Паленый загоготали, подогревая главаря. «Мужики» внизу испуганно втянули головы в плечи, боясь навлечь на себя гнев «масти». Конфликт, назревавший весь вечер, готов был взорваться.

Николай стоял у двери, чувствуя, как внутри него сталкиваются две лавины: одна — из того письма и бабкиных молитв, другая — из устава, страха перед доносом и ненависти к этим уголовникам, которые смели указывать ему, старшему по конвою.

— Заткнись, Крест, — не оборачиваясь, процедил Николай. Голос его был тихим, но в нем прорезался тот самый металл, о котором когда-то говорил отец-кузнец. — Рот раскроешь без команды — в карцер на пересылке определю лично.

Он подошел к фляге, висевшей у него на поясе. Рука на мгновение замерла. Отдать свою воду заключенному — это не просто нарушение, это признание поражения. Но перед глазами стоял пустой угол в родной избе, где когда-то висели иконы.

Отец Иоанн не шелохнулся, когда Николай подошел ближе. Его губы продолжали мерно двигаться, выплетая невидимую нить молитвы, которая, казалось, была прочнее стальных ребер вагона. Он не смотрел на наган, не смотрел на взвинченных уголовников — он предстоял перед Кем-то, кто был гораздо выше и грознее всех присутствующих.

Этот ровный, едва слышный шепот действовал на Николая сильнее крика. Ему почудилось, что вокруг священника пространство стало плотным, словно тот находился внутри невидимого купола, куда не долетал мат уголовников и, где не действовали законы конвойной службы.

— Молишься, значит... — хрипло произнес Николай.

Отец Иоанн на мгновение прервался, поднял глаза и тихо, но твердо ответил:

— Молюсь, Николай. И за болящего отца Прокопия молюсь, и за братьев... и за тебя, кузнецов сын. Чтобы Господь сердце твое из оледенения вывел.

Николай отшатнулся, будто его ударили наотмашь. Откуда он мог знать? Откуда этот старик, которого он видел первый раз в жизни, знал про кузницу, про отца, про его корни? В вагоне стало так тихо, что было слышно, как шуршит солома под ногами заключенных. Даже Васька Крест на верхних нарах замер, почуяв, что происходит что-то, не вписывающееся в лагерные понятия.

Священник снова стал тихо шептать молитвы, он не просил пощады, не заискивал. Он просто стоял в проломе между жизнью и смертью, и эта его молитва была единственным, что еще отделяло Николая от окончательного превращения в хищника.

Николай медленно потянул за ремень фляги. Пальцы не слушались. Он понимал: если он сейчас протянет эту воду, назад пути не будет — он навсегда перестанет быть «верным винтиком системы» и снова станет тем Колькой, который когда-то верил в чудо.

Николай стиснул зубы и, оборвав внутренние колебания, резко выдернул флягу. Шагнув вперед, он грубо, почти насильно сунул ее в руки отцу Иоанну.

— На, пой больного! Живо! — глухо выдохнул он, кивнув в сторону задыхающегося, бледного епископа. — Только быстро!

Отец Иоанн поднял глаза. В этом взгляде не было ни торжества победы, ни подобострастной благодарности, которой Николай, как представитель «системы», привык требовать от заключенных. Старик смотрел на него снизу вверх, но Николаю показалось, что он сам уменьшился до размеров того самого напуганного мальчишки Кольки. Священник едва заметно, одними губами, кивнул — не за воду, а за то, что Николай удержался на краю пропасти и не превратился в равнодушного циника.

Николай видел, как обернувшись к углу камеры, отец Иоанн опустил на колени перед бледным, тяжело дышащим епископом. Отец Иоанн бережно приподнял изможденную голову владыки, бережно поднес горлышко фляги к его сухим, потрескавшимся губам и бережно, по капле, стал вливать спасительную влагу. Вода тонкой струйкой блеснула в полумраке, и этот тихий, мерный поток в стенах сырого каземата прозвучал громче любого набата.

Продолжался ритмичный стук колес — *так-так, так-так*, наваливаясь на стоны больных, уставших людей и ругань в вагоне, но для отца Иоанна он вдруг превратился в совсем

другой звук. Ему почудилось, что это не сталь бьется о стыки рельсов, а мерные удары церковного колокола в ясный воскресный полдень. Он закрыл глаза, и ледяной сквозняк пересыльного вагона сменился теплым дыханием цветущих яблонь.

Память вернула его в то тягучее, словно янтарный мед, рязанское лето, окутавшее приход благодатным покоем.

В городке пахло речной прохладой и терпкой полынью, но за церковной оградой время будто замедлялось. Душой этого места была Елизавета — его тихая, любимая матушка. Она тихонько пела молитвы, и белоснежные простыни, трепеща на ветру, казались крыльями ангелов, спустившихся в их двор. Сам он, тогда еще полный сил, с густой черной бородой, выходил на порог в легком подряснике. В руках он держал писания Златоуста, но взгляд то и дело ускользал от строк — он не мог надышаться счастьем, глядя, как дети Алешка и крошка Маша с заливыстым смехом мелькают среди ветвей старых яблонь.

Антоновка в тот год уродилась тяжелая, ветки до самой земли гнулись.

— Ванечка, — звала его жена, — иди помоги, обломятся ведь деревца, жалко...

Он шел, подставлял подпорки, и ладони его потом долго пахли терпкой яблочной кожей. Этот запах мешался в его жизни с ароматом церковного ладана. Бывало, на литургии, когда солнечный луч прорезал облако кадильного дыма, ему казалось, что сам Господь дышит в его храме этим домашним, садовым теплом.

К нему шли все. Купец Первой гильдии Саврасов привозил пузатые конверты «на украшение храма» и долго плакал на исповеди о своей черствой душе. А следом за ним заходила босоногая Фекла-батрачка, приносила одно-единственное яйцо или пучок укропа:

— Помолись, батюшка, коровка занедужила, кормилица наша...

И он слушал. Каждого. Не перебивал, не грозил карой небесной. Просто смотрел в глаза, и человек чувствовал: он не один. Что есть на свете это место — яблоневый сад и тихий священник, который молится и, где любая боль становится тише.

Неожиданно отец Иоанн внезапно от сильного толчка поезда открыл глаза. Вместо яблоневых садов — заплеванный пол телячьего вагона. Вместо пения птиц — хриплый мат уголовников и лязг винтовки конвоиров.

Васька, заметив, что священник очнулся от своих мыслей, сплюнул через губу, усмехнулся:

— Что, папаша, райские кущи привиделись? Небось, бабёнка теплая да пироги сдобные?

Отец Иоанн посмотрел на рецидивиста. В его взгляде не было осуждения, только та самая смиренная кротость, которая раздражала Ваську больше всего.

— Яблоки мне почудились, Василий. Антоновка. Запах у них такой... на весь мир хватит.

Николай, стоявший у дверей, невольно принахался. В вагоне воняло потом и нечистотами, но на секунду ему показалось, будто сквозь этот смрад пробился тонкий, едва уловимый аромат свежих плодов. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и грубо крикнул:

— А ну, отставить разговоры! Видения свои при себе держать!

Но отец Иоанн уже не слышал грубости. Он знал: пока в его памяти жив этот запах яблок и ладана, лагерь не сможет забрать его душу.

Стук колес отдавался в висках: «Нет-е-го, нет-е-го...».

В девятнадцатом году, когда тиф косил Рязанщину беспощаднее пулеметов, ушла Елизавета. Она сгорела за три дня, тихая и кроткая до последнего вздоха. Отец Иван сам обмывал её холодные руки, те самые, что еще вчера пекли хлеб и гладили детей. Тогда он впервые узнал, как оглушительно может молчать пустой дом.

А потом мир начал осыпаться, точно сухая штукатурка.

Сын Алеша, рослый, в отца, с горящим взглядом, пришел прощаться до рассвета.

— Пойду я, батя. Не могу смотреть, как Русь топчут.

Отец Иоанн не удерживал — только перекрестил дрожащей рукой: «Иди, сынок. На всё воля Его». С тех пор — ни весточки. Поговаривали, что их полк лег под Перекопом, но отец Иоанн каждое утро на проскомидии вынимал частицу: «О здравии воина Алексея». Вера в то, что сын жив, была его единственным тайным упрямством перед Богом.

Дочь Машенька уехала в Москву, поступила на курсы. Последнее письмо от неё было коротким и злым, пахнущим чужим, городским духом: *«Папа, не пиши мне больше. Твои письма губят мою жизнь. Из-за твоего сана меня не принимают в союзы. Выбери — или твой Бог, или я»*. И отец Иоанн выбрал Бога, но сердце его с того дня стало похоже на старый, иссеченный шрамами дуб.

В двадцать втором пришли «изъятые».

В храме было холодно. Опер в кожанке, не снимая кепки, диктовал опись.

— Серебро сдаем на помощь голодающим, гражданин Покровский. Не жадничайте, дети Поволжья пухнут.

Отец Иоанн вынес подсвечник — тяжелый, потемневший, намоленный поколениями прихожан.

— Берите, — тихо, но твердо сказал священник, протягивая святыню. — Если брат ваш умирает. Спасайте человека.

Но когда опер, ухмыльнувшись, шагнул мимо него и потянулся к алтарю — к древним иконам и богослужебной чаше, — отец Иоанн наотмашь перехватил его запястье. Сила в пальцах старика оказалась такой, что чекист аж охнул, попытался вырваться, но не смог.

— Чашу и иконы не дам, — глядя прямо в глаза оперу, отдельно произнес священник. Голос его больше не был тихим. — Это — Кровь Господня. Без неё храма нет, и жизни нет. Хочешь забрать? Стреляй здесь, прямо на амвоне. Но сосуды святые ты не тронь, пока я жив.

Опер дернул руку, шагнул назад и зло сплюнул на каменный пол.

— Ладно. Твоя взяла. Пока, — процедил он сквозь зубы.

В тот раз он отступил. Но взгляд, которым он окинул алтарь и самого отца Иоанна, говорил яснее слов: чекист вернется.

Последним искушением стали «обновленцы».

В двадцать втором году, когда застенки ГПУ уже начали наполняться священниками, в приход к отцу Иоанну приехал гость. Это был Григорий — его бывший соучник по Рязанской семинарии, с которым они когда-то вместе зубрили латынь и мечтали о высоком служении.

Но теперь Григория было не узнать. На нем не было рясы. Он вышел из блестящего черного авто в лощенном заграничном пиджаке, модных штиблетах, а из его кармана торчала газета «Живая церковь». Пахло от него не ладаном, а дорогим табаком и одеколоном, привезенным из самой столицы.

Они сели в саду, под той самой антоновкой, но яблоки в тот год казались кислыми. Григорий говорил много, горячо, то и дело поглядывая на часы.

— Ваня, ну что ты всё за старое держишься? — убеждал он, пуская дым в сторону храма. — Прокопий твой под арестом, Церковь старая — как дряхлая старуха, доживает свое. Мы теперь — «Живая церковь»! Обновленцы! Мы признали революцию, мы сошлись с властью. Понимаешь?

Отец Иоанн молчал, глядя, как мутный пепел с папиросы Григория падает на траву.

— Мы теперь за прогресс, — продолжал Григорий, понизив голос до заговорщицкого шепота. — Женатый епископат, богослужение на понятном языке, никакой этой византийщины. А главное, Ваня... — он положил пухлую руку на плечо друга, — у нас полная поддержка власти. Оперуполномоченный Туманов — мой хороший знакомый. Подпиши декларацию, признай наше «Обновление» — и приход тебе оставят, и пайку академическую выпишут. Машка твоя в Москве в институт поступит без проблем. Будешь жить в тепле, служить в свое удовольствие. Ну?

Отец Иоанн медленно поднял голову. Он смотрел на Григория не с гневом, а с глубокой, пугающей скорбью, как смотрят на покойника, которого еще не успели накрыть саваном.

— Христос, Григорий, не обновляется, — тихо, но отчетливо произнес отец Иоанн. — Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. Это не Церковь дряхлая, это мы с тобой, Гриша, дряхлеем, когда правду на пайку меняем.

Григорий вскочил, лицо его пошло красными пятнами.

— Ты дурак, Покровский! Фанатик! Ты хоть понимаешь, что завтра за тобой придут? Твои «сосуды святые» в переплавку пойдут вместе с твоими костями! Власть-то — она теперь на вечность пришла, а ты против рожна прешь!

— Власть — она от Бога или по попущению Божию, — ответил отец Иоанн, вставая. — Но она земная. А Церковь — Небесная. Твоя «новая правда», Гриша, она до первой бури. А когда буря стихнет, останется только то, что на Камне построено. Иди с Богом. Только помни: пайка кончится, а за Иудин поцелуй спрос будет долгий.

Григорий уехал, не попрощавшись, яростно хлопнув дверцей машины. Через неделю отец Иоанн узнал, что обновленец Григорий в уезде на проповеди называл его «врагом прогресса» и призывал к расправе.

Спустя две недели после этого визита, когда утренняя роса еще не сошла с травы, у церковной ограды взревел мотор. Отец Иоанн как раз заканчивал утреннее правило. Он услышал тяжелый топот кованых сапог, сокрушивших тишину его сада, и сразу всё понял.

В дверь не постучали — её рванули с такой силой, что посыпалась сухая известковая крошка. В тесную прихожую, пахнущую ладаном и старой бумагой, ворвались трое. Кожанки поскрипывали, наполняя дом чужим, тяжелым запахом бензина и казенного страха. Впереди, пряча глаза за козырьком фуражки, шел тот самый человек, который еще в прошлое воскресенье читал псалмы на клиросе. Теперь же он не крестился, а сжимал в руке помятый лист мандата. Григория среди них не было — он предпочел руководить «прогрессом» из кабинета, подальше от кроткого, но пронзительного взгляда своего бывшего сокурсника по семинарии.

— Покровский Иван Сергеевич? — голос старшего был сухим, как треск валежника под сапогом. — Гражданин священник, на вас поступил сигнал. Антисоветская агитация, хранение запрещенной литературы. Отец Иоанн медленно поднялся из-за стола, прикрыв ладонью раскрытый служебник.

— Ну вот и срок пришел... — негромко проговорил он, скорее себе, чем вошедшим.

— Куда же вы меня теперь, сынки?

Старший, не глядя в глаза, швырнул мандат на стол, прямо поверх Писания.

— Сегодня — никуда. Но это, считай, последнее предупреждение. Органы дают вам шанс одуматься. Еще один стихийный сбор прихожан в храме или попрёк в сторону сельсовета — и поедешь по этапу. Указ понятен?

Молодой конвоир с колючим взглядом, не сдержавшись, пнул ногой стопку книг в углу.

— Чё ты с ним панькаешься? Давай его сейчас в машину, и дело с концом! Григорий сказал — не церемониться.

Отец Иоанн перевел взгляд на юнца. В этом прозрачном, полном глубокой печали взоре было столько тишины, что парень осекся и невольно отступил на шаг.

— Дайте хоть крест оставить, — тихо попросил отец. — И Дары Святые... Если дом опечатывать станете.

— Ничего пока не опечатываем, поп — огрызнулся старший, забирая мандат. — Пока живи. Но учти: за домом круглосуточный дозор. Никаких служб, никаких «таинств». Станешь воду мутить — пеняй на себя. Григорий Савельевич лично проконтролирует твоё «исправление». Они ушли так же шумно, как и вошли. Хлопнула калитка, взревел мотор автомобиля, обдав окна сизым дымом. Отец Иоанн подошел к окну. Там, у здания сельсовета, он увидел

знакомый силуэт. Григорий курил, прислонившись к кирпичной кладке, и старательно смотрел в сторону реки, боясь обернуться на дом, где его когда-то учили любви и прощению.

— Прости тебя Господь, Гриша, — прошептал отец Иоанн, перекрестив далекую фигуру через стекло. — Береги душу, она у тебя одна, другой не будет.

Машина скрылась, оставив после себя лишь горькую пыль пыли. В доме воцарилась звенящая пустота. Отец Иоанн опустился на колени, нащупав в кармане подрясника маленькую чашу и потертый служебник. Его не увезли сегодня, но он знал: это лишь короткая передышка перед долгим путем. И эту чашу он пообещал сохранить любой ценой — даже если завтра в дверь снова постучат.

Несмотря на свинцовые тучи угроз, отец Иоанн продолжал служить в храме. Для него это не было вызовом власти — это было дыханием. Храм, притихший, израненный, с наполовину ободранными окладами, казался теперь живым существом, которое замерло в ожидании удара, но продолжало молиться вместе со своим пастырем.

Уже на следующее утро, когда рассвет еще только едва коснулся верхушек сосен, в дверь едва слышно поскреблись. Это была вдова Марья. Она стояла на пороге, прижимая к груди узелок, и глаза её, заплаканные добела, молили о покое для души усопшего мужа.

— Батюшка, страшно-то как... — прошептала она, озираясь на пустую улицу. — Говорят, заберут вас, если узнают. Отец Иоанн мягко улыбнулся, и в этой улыбке не было ни капли дерзости — только спокойная, выстраданная решимость.

— Человека забрать можно, Марьюшка. Правду — нельзя. Проходи, не бойся.

Когда двери запирались на тяжелый засов, из тайника под алтарем извлекались сокровища: маленькая, чудом спасенная чаша и служебник с пожелтевшими от слез страницами. В полумраке, где воздух пах молитвой, голос священника обретал невероятную мощь. Это был уже не пожилой священник, а воин. Каждое слово молитвы в этой давящей, враждебной тишине ложилось на чашу весов с весом чистого золота. Ультиматум людей в кожанках стал для него не стеной, а чертой, за которой страх умирает, уступая место вечности. Он продолжал свое незримое служение: крестил детей в холодной воде цинковых тазов, отпевал уходящих под повратный шепот ночи и причащал. Григорий наблюдал за отцом Иоанном. Он часто стоял у порога сельсовета, курил, щурясь на закрытые двери церкви, и чувствовал, как внутри закипает черная, бессильная ярость. Он подарил отцу Иоанну жизнь, а тот использовал её, разрушая его новый, «идеальный» мир веры в человека-бога. Отец Иоанн, оканчивая очередную тайную службу, клал руку на пожелтевшие страницы Евангелия и шептал:

— На всё Твоя воля. Он понимал, что каждое «Господи помилуй» приближает стук приклада в дверь, который на этот раз уже не закончится предупреждением. Но страха не было — была лишь тихая радость от того, что чаша с дарами всё еще полна, а душа — свободна и простой люд тянется за помощью за духовным советом и опорой. В этом и состояло его земное и духовное счастье.

В вагоне (настоящее время)

Резкий стук невольно вернул отца Иоанна в вонючий вагон, и он невольно коснулся своего креста. Он знал, что на Соловках обновленцев тоже много — им выделяли лучшие кельи, давали легкие работы в канцелярии за то, что они доносили на «тихоновцев».

Николай, перехватив взгляд священника, усмехнулся:

— Что, старик, вспоминаешь дружков своих? У нас в управлении один ваш, обновленец, частый гость. Курит «Герцеговину Флор», про грехи наши лекции читает. А ты вот в навозе сидишь. Стоило оно того?

Отец Иоанн посмотрел на молодого конвоира.

— Стоило, Коля. Потому что в навозе-то совесть чище, чем в шелках у Иуды. Ты сам скоро поймешь: кто истинный служитель, а кто при первой беде подведет. Помни кто за Христа — тот и во тьме маяком будет путь освещать.

Васька Крест, слушавший отца Иоанна, неожиданно хмыкнул:

— Слышь, начальник, а поп-то прав. У нас на Хитровке тоже были такие — под кумовьев ложились за лишнюю горбушку. Так мы их первыми «в расход» пускали. Крысу никто не любит — ни свет ваш, ни тьма наша.

Николай промолчал, но слова про «маяк во тьме» странно отозвались в его памяти. Он вспомнил, как тот самый обновленец в управлении льстиво заглядывал в глаза комиссару, и ему вдруг стало противно.

— Гниль она везде гниль, — Васька сплюнул на грязный пол и потянулся за кисетом. — Твой поп, может, и вред для народа несет, а нутро человечье видит насквозь. Предатель — он ведь как вошь: и кусает больно, и раздавить безглаголиво.

Николай посмотрел на свои руки. Пальцы едва заметно дрожали. Образ «обновленца», этого холеного человека в рясе возраста приблизительно отца Иоанна, который так легко жонглировал цитатами из Маркса вперемешку с псалмами, теперь казался ему не просто нелепым, а опасным. Тот лизал руку власти, которая его же завтра и придушит, и делал это с какой-то извращенной сладостью.

— А ты, выходит, за чистоту рядов радеешь, Крест? — сухо спросил Николай, пытаясь вернуть голосу прежнюю твердость.

Васька прищурился, и в глубине его зрачков блеснуло что-то первобытное, не знающее ни декретов, ни молитв.

— Я, начальник, за то, чтобы человек человеком оставался, даже если он по уши в дерьме. У нас на зоне за «стук» перо в бок — это в цвет, это справедливо. А у вас в кабинетах это как называется? Социалистическая бдительность?

Николай не ответил. Грань между долгом и низостью, которая еще утром казалась ему монолитной стеной, вдруг пошла трещинами. Если даже вор с Хитровки чувствует эту вонь, то как долго он сам сможет делать вид, что воздух в управлении чист?

Арест

В душном полумраке вагона отец Иоанн смотрел на свои руки — старые, в синих жилах, когда-то пахнувшие ладаном, а теперь въевшейся дорожной пылью. Он вспоминал тот день в двадцать третьем, когда его жизнь окончательно разделилась на «до» и «после».

Власти приняли решение закрыть храм. Храм, где крестили их дедов и венчали их самих, должен был стать «клубом». Рабочие приехали рано утром. Когда первая лестница стукнула о беленую стену и человек с молотком потянулся к золоченому кресту, отец Иоанн вышел на крыльцо.

Он не кричал. Он просто встал в дверях, загородив вход своим телом. За его спиной, словно из земли выросла толпа — его прихожане. Они стояли молча, плечом к плечу, и в этом молчании было больше силы, чем в любом крике.

Оперуполномоченный ГПУ — молодой парень в кожанке, глазами до боли напоминавший конвоира Николая, — нервно сжимал рукоять нагана.

— Уйди, старик! — сорвавшимся голосом кричал он, наступая на священника. — Не доводи до греха... не доводи до крови! Уйди добром, всё равно снимем!

Отец Иоанн посмотрел на него, и опер невольно осекся — столько тихой правды было в этом взгляде.

— Кровь человеческая, сынок, не вода, — негромко произнес священник. — Она не в землю уходит, она к небу вопиет. А храм этот... ты пойми, он ведь не мой. Он Божий. Как же я Бога из Его собственного дома выгоню?

Опер сплюнул, выругался, но приказал рабочим слезть. В тот день они отступили.

Его увозили ночью. Тихо, без шума, чтобы не бунтовать народ. В кабинете ГПУ, при свете единственной лампы, ему предложили сделку. Тот же опер, только теперь усталый и хмурый, положил перед ним лист бумаги.

— Отрекись, Иван Сергеевич. Напиши в газету, мол, дурил народ, Бога нет. И иди на все четыре стороны. Дочка в Москве, жизнь молодая... Зачем тебе эти камни? Сними рясу, стань человеком.

Отец Иоанн посмотрел на бумагу, потом на оперуполномоченного и просто улыбнулся — светло и печально.

— Рясу-то снять можно, мил человек. Ткань она и есть ткань. Но крещение... крещение из души ведь не вымоешь. Как я от себя самого отрекусь?

Оперуполномоченный Туманов — тот самый, в чьих глазах Николай позже будет видеть отражение своей собственной неприкаянности, — с силой грохнул кулаком по столу. Стекланный графин на подносе испуганно звякнул.

— Не юродствуй, Покровский! — выкрикнул он, подаваясь вперед. От него пахло дешевым табаком и бессонницей. — Какое крещение? Какая душа? Мы полмира в пыль стерли, царей с престолов скинули, а ты мне про «душу» поешь? Ты пойми: завтра твой храм пустят под зернохранилище, а тебя — в расход. Никто и не вспомнит, где твоя могила. Напиши две строчки! Скажи, что религия это — дурман, что дурил ты мозги неграмотному мужику ради звонкой копейки. Мы тебя в город перевезем, в школу учителем пристроим. Дочку, из черных списков вычеркнем. Она ведь молодая, ей жить охота, а не на отца-попа оглядываться!

Отец Иоанн отвел взгляд от лампы и посмотрел на Туманова. В кабинете ГПУ пахло казенным страхом, но за окном, в синих сумерках, еще теплилась жизнь.

— Дочка... — тихо повторил священник, и на мгновение в его глазах отразилась такая невыносимая боль, что опер невольно отвел взгляд. — Машенька... Она ведь потому и отеклась, что я для неё — живое напоминание о правде. Если я сейчас бумагу твою подпишу, я её не спасу. Я её сиротой сделаю. Потому как отец, который Бога продал, он и детям своим больше не отец. Пустая оболочка.

Он пододвинул лист обратно к оперуполномоченному. Пальцы священника были спокойны.

— Ты вот говоришь: «стань человеком». А я ведь только-только им становиться начал, когда Христа в сердце впустил. Без Него я — просто кусок глины, прах земной. А с Ним — человек. Рясу-то вы с меня хоть сейчас снимайте, хоть в рванье переодевайте — душа-то под ней всё та же. На ней печать Господня, а её ни маузером не соскрести, ни пером не зачеркнуть. Как же мне от себя самого бежать? Где я спрячусь, мил человек, когда сам от себя откажусь?

Туманов вскочил, яростно сминая чистую бумагу.

— Ну и сгнивай на Островах! Там тебе чайки проповеди читать будут! Уведите его!

В вагоне (настоящее время)

Поезд завыл, замедляя ход. Скрежет железа о железо заставил всех в «коробке» втянуть головы в плечи. Николай, стоявший у дверей, будто слышал каждое слово этого внутреннего монолога отца Иоанна — тот словно и не скрывал своих мыслей, они витали в воздухе вместе с паром от дыхания.

Васька Крест, сидевший на нарах, вдруг подал голос. На этот раз в нем не было привычного глума, только тяжелое, мрачное любопытство.

— Слышь, батя... А если б и правда — подписал бумажку, да на волю? Нешто Бог твой не простил бы? Он же у вас добрый, всё хакает.

Отец Иоанн посмотрел на рецидивиста.

— Простить-то Он простит, Василий. Он и разбойника на кресте простил. Да только я-то сам себя как прощу? Человек ведь тем и велик, что у него внутри есть черта, за которую переступать нельзя. Переступишь — и нет тебя больше. Тень одна ходит по земле.

Николай вдруг вздрогнул. Он поймал на себе взгляд отца Иоанна — тот самый, из своего воспоминания. На мгновение ему показалось, что это он тогда стоял на тех ступенях с наганом в руке.

— Чего вылупился? — грубо буркнул Николай, отводя глаза. — Спи давай. Завтра Кемь. Там твои святые камни по-другому заговорят.

Васька Крест, прислушивавшийся к тишине, хрипло рассмеялся:

— Слышь, начальник, зря ты его пугаешь. Он смерти не боится. Он её, кажись, за невесту держит. Урки заготовали. — В тему гутаришь Крест!

Вагон качнулся, и в этой железной тишине каждый остался со своей правдой. Путь к Секирной горе становился всё короче.

Воспоминание

Бутырская тюрьма выпила из отца Иоанна последние земные силы, оставив только остов — сухой, жилистый, готовый к любому ветру. После сырых подвалов и бессонных допросов приговор «тройки» — пять лет СЛОНа — прозвучал не как кара, а как освобождение. Пять лет. Пять кругов северной Голгофы, где каждый шаг по камням должен был стать либо падением, либо восхождением к свету.

В памяти отца Иоанна всё еще стоял тот московский день, когда за спиной лязгнули тюремные засовы. Над столицей тогда нависло тяжелое, свинцовое небо, словно сама природа приготовилась к долгому трауру. Иван Сергеевич Покровский шел в серой колонне, крепко прижимая к груди холщовый узелок — жалкий остаток его былой, яблочной жизни. И вдруг, сквозь яростный лай овчарок, сквозь хриплую ругань конвоя и надсадный кашель обреченных, его окатило волной странного, почти жуткого покоя.

Он поднял глаза, всматриваясь в тех, кто шел рядом. По левую руку спотыкался о вывороченные булыжники пацаненок с лихорадочным блеском в глазах — воришка, поплатившийся свободой за краденую краюху. Впереди, нелепо сутулясь, семенил старик-профессор; он растерянно щурился, лишившись своего пенсне, а вместе с ним — и всей привычной ясности мира. А за спиной, сотрясая воздух густым матом, вышагивал матрос-анархист, всё еще пытавшийся бунтовать против неизбежного. «Вот она, — подумал отец Иоанн, и сердце его дрогнуло от неожиданной ясности. — Вот она, паства моя. Не в накрахмаленных воротничках, не с чистыми помыслами под куполом прихода... А эти. Обездоленные. Грязные. Злые на весь свет и на самого Бога».

В эти минуты отец Иоанн понял, что Господь не наказывает его ссылкой, а переводит на новое служение. Туда, где свет нужнее всего — в самое сердце непроглядной тьмы.

Прибытие

Чувствовалось как поезд замедлял ход. Скрип тормозов рвал уши. За окном проступали сумерки карельских лесов — корявых, прижатых к земле вечным холодом.

Николай с силой рванул на себя засов, и тяжелая дверь вагона, вскрикнув железом, открылась настежь. В нутро «коробки» ворвался колючий воздух Кеми — густой, просоленный, пропитанный запахом льда и какой-то беспросветной, вековой тоски.

— А ну, на выход! — выкрикнул он, чувствуя, как голос предательски дрогнул и сорвался на высокой ноте. — Строиться по четверо! Всем лицом к морю!

Николай замер, не сводя глаз с отца Иоанна. Священник осторожно, нащупывая ногами обледенелую насыпь, спускался вниз, придерживая полы съеденные молью рясы. Глядя на отца Иоанна, Николай вдруг ощутил глухую, разъедающую горечь. Ему стало тошно от собственной анкеты — безупречной, гладкой, идеологически выверенной, в которой всё было расставлено по полкам, но не было ни капли правды о нем самом, о его живом, мечущемся сердце.

С моря подул ветер — острый, пахнувший солью, гниющими водорослями и льдом. Это был запах Белого моря. Васька Крест, первым прыгнувший на насыпь, поежился от этого холода.

— Ну, батя, — бросил он через плечо отцу Иоанну, который медленно спускался, придерживая под локоть совсем старого владыку Тихона. — Вот она, твоя новая епархия. Тут колокола не звонят, тут только зубы стучат.

Николай стоял на перроне, окруженный паром от дыхания. Он видел, как священники, оказавшись на земле, невольно потянулись друг к другу, образуя крошечный островок среди бушующего моря ругани и суеты.

— Чего встали?! — выкрикнул Николай, но в его голосе уже не было прежней уверенности. — Марш к причалу! Шаг вправо, шаг влево — расстрел!

Толпа качнулась, точно серая волна, подгоняемая лаем псов и прикладами конвоя. Тяжелые арестантские ботинки месили жирную карельскую грязь, перемешанную с битой ракушкой. Васька Крест шел впереди, привычно втянув голову в плечи, но взгляд его рыскал по сторонам, жадно впитывая чужое небо и свинцовый блеск воды.

— Поторапливайся, черноризцы! — гаркнул напарник Николая, Степан, толкнув епископа Прокопия в плечо. Старик пошатнулся, и отец Иоанн подхватил его крепче, почти на весу переноса через глубокую ледяную лужу.

— Не гневайся, служивый, — негромко отозвался отец Иоанн, не поднимая головы. — Ноги у владыки слабы, а душа — у Бога. Дойдем, не сомневайся.

Николай шел сбоку, сжимая цевье винтовки. Его поразило то, как священники сбились в кучу. Это не был страх овец перед волками. Они шли плотно, плечом к плечу, и в этом движении было что-то монолитное, нерушимое, словно они несли на руках невидимый алтарь.

Впереди показался Попов остров — это была полоска земли, соединенная с материком шатким дощатым настилом. Воздух здесь стал еще гуще, еще солонее. Огромные валуны, поросшие черным лишайником, походили на спины китов, выброшенных на берег.

— Слышь, батя, — Васька Крест притормозил, дожидаясь, пока священники поравняются с ним. — Видишь вон те бараки у воды? Это «пересылка». Там шмон такой, что и душу вытрясут. Крестики свои, если есть золотишко, лучше в рот прячьте или в тряпку и в землю. Вертухаи поповскую веру быстро на зубок проверяют.

— Спасибо за совет, Василий, — ответил отец Иоанн. — Но золото наше не в карманах. То, что у нас есть, они и под кожей не найдут.

Васька хмыкнул, сплюнув в морскую пену:

— Ну-ну. Поглядим, как ты петть будешь, когда тебя «баней» по-соловецки угостят.

Николай слышал этот разговор. Он видел, как на горизонте, сквозь клочья тумана, проступают Соловки — темный, грозный силуэт монастыря-крепости. Ему вдруг стало не по себе от уверенности этого старика в рясе. «Шаг вправо, шаг влево — расстрел», — повторил он про себя свою же команду. Но глядя на отца Иоанна, Николай впервые подумал: а что, если для этого человека расстрел — это тоже всего лишь шаг? И если так, то кто из них на самом деле находитесь под конвоем?

Попов остров

Кемская пересылка встретила их пронизывающим «сивером» — ветром, который, казалось, выдувал саму жизнь из-под лохмотьев. Это был Попов остров — преддверие великих страданий, клочок земли, зажатый между черной водой и серым небом.

Николай, кутаясь в воротник шинели, гнал толпу к приземистым дощатым баракам. Грязь под ногами была пополам со льдом.

— Живей, шевелись, элементы! — орали конвойные. — На Соловки чистыми пойдете!

Воздух над Поповым островом был густым и едким, пропитанным запахом гнилых водорослей и дешевого дегтя. Конвойные подгоняли людей не только криками, но и частыми ударами прикладов — глухими, короткими, от которых по толпе проходила судорога.

— На плац! Скидывай манатки! — раздался резкий, как хлыст, голос начальника пересылки.

Это было страшное испытание пересылки — ледяная санобработка. На открытом пустыре, обнесенном колючей проволокой, стояли чаны с водой. Начальник пересылки — человек с мертвыми глазами и стеклом в руке — приказал:

— Раздевайся до исподнего! Баня будет!

Это была не баня. Это была варварская расправа. На октябрьском железном ветру людей заставляли раздеваться догола. Священники, стесняясь своей наготы, жались друг к другу. Старый епископ Прокопий содрогался всем своим исхудалым телом, и кости его глухо постукивали на ледяном ветру. Но взгляд его, устремленный куда-то поверх штыков конвоя, оставался ясным и недвижимым. Он принимал этот холод как венец, и в его немощном безмолвии было больше мужества, чем во всей ярости тех, кто его окружал.

Отец Иоанн помог епископу Прокопию стянуть промерзшую рясу. Старые руки священника дрожали, но движения оставались бережными. Васька Крест стоял рядом, сжав зубы так, что на скулах играли желваки. Его татуировка на груди — тот самый распятый Христос — казалась в этом сером свете живой, содрогающейся от каждого порыва ветра.

— А ну, святоши, окроплю вас! — загоготал зловещим, хриплым смехом один из конвоиров и плеснул из ведра ледяной морской водой прямо на группу священников. Вода обожгла, как кипяток. Воздух в груди застыл.

Николай, стоявший в оцеплении, почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Он видел эти исхудавшие ребра, эти седые бороды, обледеневшие от брызг, видел, как краснеет кожа людей на холоде. Он ждал криков, мольбы, но услышал лишь прерывистый шепот.

— Господи, помилуй... Господи, укрепи... — шептали священники, заслоняя собой епископа Прокопия.

Николай вспомнил, что в уставе было написано «уничтожение врагов», но перед ним были не враги, а замерзающие люди. Уголовники переносили холод иначе — они скалились, сбивались в кучу, грея друг друга спинами. Васька Крест, стоя голым, со своими татуировками на впалой груди, выглядел как костлявый доходяга. Он видел, как охранник замахнулся на отца Иоанна, чтобы сорвать с его шеи спрятанный медный крестик.

— Слышь, командир! — вдруг выкрикнул Крест, шагнув вперед. — Оставь попа! У него и так душа в пятках, чего тебе та железка? Возьми вон у меня кольцо, с воли припрятал, — он протянул руку, в которой ничего не было, просто отвлекая внимание.

Охранник, молодой парень с красным от мороза лицом, на секунду замешкался, озадаченный наглостью голого доходяги. Этой секунды Ваське хватило, чтобы сократить дистанцию.

— Ты чего мелешь, урка? — раздраженно рявкнул, перехватывая винтовку, но руку от ворота рясы священника отнял.

Николай, наблюдавший за этой сценой, видел, как Крест играет со смертью. Васька стоял босой на ледяных плитах, его посиневшая кожа, испещренная тусклой синевой наколок, покрылась крупными мурашками, но взгляд оставался твердым и острым, как бритва.

— Кольцо, говорю, знатное, — зубы Васьки выбивали дробь, но голос не дрогнул. — В бараке отдам, тут на глазах у всех не резон. Оставь попа, начальник. Он же доходяга, завтра сам концы отбросит, а тебе — лишняя писанина.

Отец Иоанн, прижав ладонь к груди, где под ветхой тканью скрывался медный крестик, смотрел на Ваську с тихим изумлением. Отец Иоанн, давно предавший себя в руки Господни и с кротостью ждавший своей участи, лишь безмолвно дивился неисповедимым путям Божия Промысла. Он видел, как в этом ожесточенном грешнике, признающем лишь воровской закон, внезапно, вопреки всякой земной логике, затеплилась искра небесного милосердия. Отец Иоанн понимал: это не просто человек заслонил человека — это Сама Любовь коснулась души отпетого уголовника, заставив его подставить израненную спину под удар ради того, кого он еще вчера презирал.

И в эти минуты отец Иоанн вознес благодарственную молитву. Он благодарил Господа не за спасение своей жизни — она и так висела на волоске, — а за эту неожиданную явленную милость. Ему казалось чудом, что в самом сердце ледяного кошмара, среди ненависти и конвойных прикладов, он нашел милость в лице этого озлобленного, потерянного человека. Для

отца Иоанна поступок Василия стал высшим свидетельством того, что искра Божья не гаснет даже в самой черной душе.

— На место встал! — Николай шагнул вперед, прерывая назревающую расправу. Он чувствовал, как внутри него снова ворочается то самое странное чувство из каюты. — Седьмой! Оставь старика. Не видишь — он еле дышит. Еще сдохнет при обыске, отвечать замучаешься.

Конвоир сплюнул, злобно посмотрел на Ваську и, напоследок толкнув священника в спину, пошел дальше вдоль строя.

Васька Крест медленно выдохнул. Его плечи опали, и он снова превратился в тщедушного, изможденного зэка. Обернувшись к отцу Иоанну, он едва заметно подмигнул и прохрипел:

— Держись, поп! Здесь Бога нет, здесь только мы, зэки отпетые. Но и зэкам иногда скучно без совести.

Отец Иоанн медленно поднял голову. Его глаза, глубоко запавшие, изможденные, вдруг встретились со взглядом уголовника. В них не было ни страха перед конвоиром, ни обиды на грубость Васьки — только тихий, пронзительный свет, от которого Крест невольно дернул плечом.

— Ошибаешься, сынок, — негромко, но отчетливо произнес старик, и голос его не дрожал от холода. — Бог и здесь светит, и, может быть, даже ярче, чем на воле. Потому что там, где горя больше всего, там Он ближе всего к человеку. Прямо здесь, между нами, и стоит.

Васька хотел было привычно огрызнуться, бросить едкое словцо, но язык словно присох к гортани. Зэк посмотрел на свои татуированные руки, потом на седую бороду священника, заиндевевшую на морозе, и впервые за долгие годы быстро, почти испуганно отвел глаза.

Конвой продолжал «ледяную баню» с методичной жестокостью. Вода в огромных чанах, зачерпнутая прямо из моря, была не просто холодной — она казалась густой и тяжелой, как жидкий свинец. Когда очередная порция обрушивалась на плечи, кожа немела мгновенно, а легкие перехватывало так, что люди открывали рты в беззвучном крике, не в силах вытолкнуть из себя ни звука.

Заключенные уже перестали чувствовать свои тела. Руки и ноги превратились в чужие, непослушные колоды, которые кололо тысячами раскаленных игл. Собственное существование теперь ограничивалось лишь одной точкой — крохотным огоньком сознания, который еще теплился где-то глубоко в груди, под ребрами.

Те, кто послабее, просто оседали на скользкие плиты. Их глаза стекленели, отражая серый свет полярного неба, а кожа приобретала мертвенно-синюшный, восковой оттенок.

Другие метались под струями, пытались увернуться от ледяного удара, но натывались на приклады конвоиров, которые с остервенелым гоготом загоняли их обратно в «купель».

Отец Иоанн стоял неподвижно, закрыв глаза. Вода стекала по его впалым щекам, смешиваясь с невидимыми слезами, а губы беззвучно шевелились, повторяя слова молитвы, которые сейчас были его единственным убежищем.

Николай молча наблюдал за этим ледяным произволом, чувствуя, как внутри него что-то бесповоротно меняется. В это мгновение, среди лязга ведер и издевательского хохота сослуживцев, он совершил свой первый настоящий выбор.

Стараясь, чтобы голос не дрогнул, Николай решительно шагнул в центр двора. Он подошел к охраннику, занесшему очередное ведро над головой священников, и сухо, по-уставному бросил:

— Хватит лить!

Тот замер, недоуменно глядя на Николая.

— Ты чего, Коль? Повеселиться не даешь... — начал было конвоир, но Николай оборвал его жестким, колючим взглядом.

— Смена караула через десять минут, — отрезал он. — Не успеем оформить списки, потащим за собой хвосты до полуночи. Хочешь лишний час на морозе торчать из-за этой шалупони?

Охранник сплюнул, недовольно зыркнул на Николая, хотел было что-то возразить, но передумал — авторитет «правильного» конвоира, который ссылается на устав и отчеты, был весомее простой прихоти поиздеваться над «черноризцами». В этот момент Николай быстро отвернулся, чтобы никто не увидел, как у него самого дрожат руки.

— Одеваться! Кому сказано! Живо, псы шелудивые! — рявкнул Николай, чтобы скрыть смятение в голосе.

Толпа всколыхнулась. Эки хватали свои промерзшие, ставшие колом тряпки, натягивали их на мокрые, синие тела. Васька Крест, не спеша, подошел к отцу Иоанну. Он не стал помогать ему натягивать подрысник — воровская «масть» не позволяла такой нежности, — но загородил его своей спиной от ветра, пока священник непослушными пальцами пытался застегнуть пуговицы на влажном вороте. Одевшись, Васька Крест, задержался взглядом на Николае. В глазах вора промелькнуло нечто, похожее на узнавание: он увидел, что под краснотелой фуражкой зашевелилось что-то человеческое.

— Ну, спасибо, начальник... — прохрипел Васька. — Небось, дома мамка тоже за тебя молится, раз ты не до конца еще в камень превратился. Николай ничего не ответил, лишь крепче сжал винтовку, глядя, как трое — вор, священник и старый епископ — сливаются с общей серой массой, уходящей во тьму.

Где-то в тумане уже слышался тоскливый гудок парохода «Глеб Бокий». Это судно было последней нитью, связывавшей их с материком. Начиналась первая соловецкая ночь — ночь, когда лёд под ногами казался теплее, чем сердца тех, кто их охранял. Но Николай понимал: за этой ночью последует утро, которое изменит всё.

— К пристани! — скомандовал он, скидывая винтовку на плечо.

Он шел сбоку от колонны, слушая хлопанье грязи и тяжелое дыхание шестидесяти человек. Попов остров оставался позади. Впереди была открытая вода, за которой ждала Секирка.

Николай шел, стараясь не смотреть в лица заключенных, но слух обостренно ловил каждый звук: шарканье стоптанных подошв, сухой кашель и скрежет гальки под ногами. Попов остров, этот пересыльная пытка, сейчас оставался за спиной, но впереди было не избавление, а лишь очередной круг чего-то страшного.

Теплоход «Глеб Бокий» казался огромным железным зверем, замершим у причала. Узкий зев грузового люка был открыт, и оттуда тянуло сыростью и безнадеей. По крутому, скользкому трапу людей загоняли вниз, словно скот, не делая различий между немощными стариками, ворами и священниками.

Конвоиры стояли на палубе и у подножия трапа, подгоняя медлительных прикладами.

— Быстрее, контра! — летело над водой. — Вниз, в утробу! Плотно ложись, места всем хватит!

Николай видел, как отец Иоанн и другие священники, пошатываясь от слабости, цеплялись за обледенелые поручни. Сзади отца Иоанна грубо подтолкнули, и он едва не рухнул на железное дно трюма, но сильная рука Васьки Креста вовремя перехватила его за шиворот, буквально зашвырнув в темноту подальше от сапог охраны.

Когда последний заключенный исчез в глубине судна, Николай сам поднялся на борт. Железо палубы под ногами мелко дрожало — машины прогревались, готовясь к переходу через ледяные поля к Секирной горе.

Николай подошел к люку и заглянул вниз. В этой тесноте, где не было места стоял спертый запах, эки превратились в единую серую массу, скованную общим страхом и сталью теплохода.

Люки с тяжелым грохотом захлопнулись, отсекая свет.

«Глеб Бокий» вздрогнул всем корпусом и, тяжело переваливаясь, взял курс в открытое море, ломая молодой лед, который с жалобным звоном рассыпался за кормой.

Буря у Заяцких островов

Переправа от Кеми до Соловков всегда была испытанием, но в этот раз море словно взбеленилось. Баржу, груженую человеческим горем, бросало на свинцовых волнах Белого моря, как щепку. Железный трюм, где в тесноте сидели и лежали заключенные, превратился в стонущую, рвущуюся наружу утробу.

Небо, низкое и тяжелое, как сырая шинель, окончательно слилось с горизонтом, обрушивая на палубу ледяные заряды крупы. Пронизывающий «сиверко» срывал дыхание, превращая каждое слово в хрип, а брызги забортной воды мгновенно застывали на леерах колючим панцирем. Здесь внизу, не было ни дня, ни ночи — только липкая тьма, запах рвоты и судорожный лязг цепей при каждом крене, от которого казалось, что море вот-вот прожует эту стальную коробку и выплюнет её на острые прибрежные луды.

В какой-то момент судно накренилось так сильно, что человеческая масса в трюме единым комом покатила по склизкому полу. В темноте, среди мата и хрипов, кто-то истошно закричал: «Тонем! Перевернуло!». Паника вспыхнула мгновенно. Те, кто был покрепче, рванулись к запертому люку, карабкаясь по чужим плечам и головам. Железная крышка лязгнула, но снаружи её лишь припечатало очередным ударом волны.

— Осади! Задавят! — прохрипел матерый зэк по кличке Бурый, пытаясь отпихнуть напирающую толпу, но его голос утонул в общем вое.

Николай, вцепившись в обледенелый поручень на палубе, чувствовал, как холодный пот течет по спине. Ветер срывал брызги с гребней волн и швырял их в лицо, как дробь.

— Конец нам, Коля! — прокричал сквозь рев бури напарник, вскидывая винтовку. — Гляди, они сейчас люки вышибут! Боятся, что потонем!

Внизу, в трюме, действительно стоял гул. Люди, обезумевшие от качки и близости смерти, колотили в железные двери. Конвой на палубе был в панике. Начальник этапа, сорвавшимся голосом, проорал приказ:

— Если полезут — стрелять без предупреждения! В воду всех!

Огромный водяной вал, похожий на серое здание, вырос прямо по курсу. Баржа застонала, зарываясь носом. Николай зажмурился, ожидая удара, который разнесет их в щепки.

И вдруг сквозь грохот волн и вопли страха пробился голос. Негромкий, но странно отчетливый, он шел из самого центра трюма, просачиваясь сквозь щели настила.

— *Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...*

Священники стояли внизу, прижавшись спиной к мокрой стене. Васька Крест, вцепившийся в рясу отца Иоанна от дикого страха перед водой, смотрел на священника снизу вверх. Другие зэки будто окаменели в этом морском безумии. Но священники не кричали — они пели, и в этом пении была такая уверенность, будто они обращаются к кому-то, кто стоял прямо за бортом этой жалкой посуды.

— *Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лица Божия...*

Николай, повинуясь какому-то инстинкту, припал к люку. То, что он увидел, заставило его пальцы на спусковом крючке онеметь.

Там, где тяжелая корма баржи должна была встретиться с кипящим гребнем, море вдруг... отступило. В метре от бортов бушевала бездна — пенились валы, ветер сгибал мачты, а вокруг самой баржи образовалась ровная, маслянисто-гладкая полоса воды. Судно пошло по этому странному коридору, точно по зеркалу.

Васька Крест, затаив дыхание, перевел взгляд с бушующей бездны на отца Иоанна. Священники закончили молитву, тихо сели.

— Не бойся, Василий. Не время еще, — отец Иоанн просто положил руку Ваське на голову.

Николай на палубе медленно опустил винтовку. Он видел, как другие охранники протирают глаза, не веря тому, что море вокруг них вдруг успокоилось, хотя в паре саженей всё еще кипела серая ярость.

— Что это, Коля? — прошептал напарник, поправляя винтовку дрожащей рукой. — Как это... так?

Николай промолчал. Он смотрел вниз, в темноту трюма, где светлела седая голова отца Иоанна. Ему хотелось крикнуть, что это просто течение или случайный каприз шторма, но он промолчал.

Глава 2. Трюм «Глеба Боккого»

Судно, чудом вырвавшись из ледяной бездны, продолжало свой курс, тяжело переваливаясь с борта на борт. В трюме после той короткой вспышки молитвы воцарилось странное оцепенение. Люди больше не бились в запертый люк. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, согревая пространство общим дыханием, и в этой вынужденной близости таяли границы между «врагами народа» и «социально близкими» уголовниками. Здесь были «враги народа», вчерашние профессора, крестьяне и матросы, ставшие теперь просто грузом для Соловецкого лагеря особого назначения. Воздух, поднимавшийся оттуда, был тяжелым, пропитанным запахом немых тел, дешевой махорки и безысходности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.